

Николай Добролюбов

Сочинения Пушкина



Николай Александрович Добролюбов

Сочинения Пушкина

«...со времени издания Пушкина, первые томы которого вышли в начале 1855 года, наша литература ожи-вилась весьма заметно, несмотря на громы войны, несмотря на тяжелые события, сопряженные с вой-ною. Последствия показали, впрочем, что эти самые бедствия имели весьма полезное значение для нашего умственного совершенствования: они заставили нас и дали нам возможность лучше рассмотреть самих себя, пооткровеннее сообщить друг другу свои замеча-ния, побольше обратить внимания на свои недостат-ки...»

**Николай Александрович
Добролюбов
Сочинения Пушкина**

Седьмой, дополнительный том. Издание П. В. Анненкова. СПб. 1857.

Все еще помнят, вероятно, какой живой восторг возбудило три года тому назад во всей читающей публике известие о новом издании Пушкина, под редакциею г. Анненкова. После вялости и мелкоты, которою отличалась наша литература за семь или за восемь лет пред тем, это издание действительно было событием, не только литературным, но и общественным. Русские, любившие Пушкина, как честь своей родины, как одного из вождей ее просвещения, давно уже пламенно желали нового издания его сочинений, достойного его памяти, и встретили предприятие г. Анненкова с восхищением и благодарностью. И в самом деле, память Пушкина как будто еще раз повеяла жизнью и свежестью на нашу литературу, точно окропила нас живой водой и привела в движение наши окостеневавшие от бездействия члены. Вслед за Пушкиным вышло второе издание «Мертвых душ», потом второй том их, затем полное издание Гоголя, потом издание Кольцова с биографией его, написанною Белинским... Впрочем, нечего и перечислять столь недавние и общеизвестные факты; довольно сказать, что

со времени издания Пушкина, первые томы которого вышли в начале 1855 года, наша литература оживилась весьма заметно, несмотря на громы войны, несмотря на тяжелые события, сопряженные с войною. Последствия показали, впрочем, что эти самые бедствия имели весьма полезное значение для нашего умственного совершенствования: они заставили нас и дали нам возможность лучше рассмотреть самих себя, пооткровеннее сообщить друг другу свои замечания, побольше обратить внимания на свои недостатки. Литература тотчас же явилась у нас выразительницею общественного движения, и ее деятели одушевились сознанием важности своего долга, любовью к делу, горячим желанием добра и правды. Это одушевление, при новом положении литературы, скоро выразилось решительно во всем, даже в библиографии, бывшей у нас долгое время бесплодным занятием празднлюбцев для развлечения их скуки. В прежнее время библиографы наши подбирали факты ничтожные, вели споры об обстоятельствах пустых, занимались часто решением вопросов, ни к чему не ведущих. Мы

помним за последние десять лет множество статей, написанных даже людьми дельными и почтенными, но пускавшимися в такие ненужные мелочи и делавшими при этом такие наивные ошибки, что со стороны становилось наконец досадно, хотя и забавно, смотреть на трудолюбивых библиографов. И замечательно, что целыми годами труда самого кропотливого не добывалось тогда ровно никаких результатов: публику душили ссылками на №№ и страницы журналов, давно отживших свой век, а она часто и не знала даже, о чем идет дело. В последнее время и библиография переменяла свой характер: она обратила свое внимание на явления, важные почему-нибудь в истории литературы, она старается в своих поисках по архивам и библиотекам отыскать что-нибудь действительно интересное и нередко сообщает читателям вещи, доселе бывшие вовсе неизвестными в печати. Так, например, недавно были напечатаны «Сумасшедший дом» Воейкова[1], пародия Батюшкова на «Певца во стане русских воинов»[2] и пр.; так представлены были (в «Записках» г. Лонгинова[3], в «Сборнике» сту-

дентов СПб. университета) новые интересные сведения о мартинистах, о Радищеве, о Новикове[4] и пр. Ставя это в заслугу библиографам последних лет, мы, разумеется, вовсе не думаем этим унижать лично прежних деятелей. На поприще библиографии и ныне подвизаются большею частию те же лица, что и прежде, и следовательно, за нынешние полезные труды упрекать их в прежних бесполезных было бы с нашей стороны совершенно несправедливо. Мы очень хорошо понимаем, что удача или неудача библиографа в сообщении читателям интересных сведений весьма часто не зависит от его воли. Он всегда рад бы печатать все хорошее, но что же делать, если не имеет средств к этому? Личности литературных деятелей обвинять за это нельзя, — и мы хотим обратить внимание читателей на вопрос, именно с той точки зрения, что в последнее время наша библиография значительно расширилась в своих пределах и средствах.

Вышедший ныне седьмой том Пушкина служит одним из самых ярких доказательств этого расширения средств нашей библиогра-

фии, особенно в отношении к возможности и легкости сообщать публике свои находки. Правда, что в этом последнем отношении она еще и теперь далеко не совершенна, даже неудовлетворительна; но все же какое сравнение с тем, что было прежде, и незадолго прежде! Мы помним, как лет пять тому назад двое ученых – старый и молодой – ожесточенно ратовали друг против друга за то, как нужно произнести один стих Пушкина: на четыре *стороны* или *стороны*;^[5] помним, как двое молодых ученых глумились друг над другом из-за одного задорного стихотворения с подписью «Д-г», не зная, кому приписать его – Дельвигу или Дальбергу^[6]. Да мало ли что можно вспомнить из этого времени, в том же безвредном роде, как будто вызванном отчаянием скуки. И ничего не вышло из этих споров, исследований и открытий: г. Анненков взял просто рукописи Пушкина да с них и печатал большую часть его стихотворений; библиографические справки также наведены им, кажется, почти совершенно независимо от указаний прежних библиографов. Говорим это потому, что большая часть стихотворений

и отрывков, помещенных в VII томе, или является ныне в первый раз в печати, или указана не ранее прошлого года в «Библиографических заметках» г. Лонгинова. Там им указаны были пьесы: «На лире скромной, благородной», «Когда средь оргий жизни шумной», «И некий дух повеял невидимо» (отрывок), несколько строф из «Евгения Онегина» и других стихотворений, несколько эпиграмм и пр. Об этих произведениях мы не станем говорить, потому что читатели «Современника», вероятно, помнят их содержание или по крайней мере характер. Из стихотворений, напечатанных ныне в первый раз, замечательны особенно два, относящиеся к последнему времени жизни Пушкина: «Когда по городу задумчив я брожу» и «Когда великое свершалось торжество». Оба они напечатаны были в прошедшей книжке «Современника», и потому о них мы тоже не станем распространяться. Из раннего периода деятельности Пушкина напечатаны два превосходные послания к Аристарху[7], силою и серьезностью мысли напоминающие послание «Лицинию», а по энергии выражения не уступающие луч-

шим ямба́м Пушккина позднейшей эпохи. Чтобы яснее обрисовать характер выражения пьесы, приведем из нее то место, где поэт определяет обязанности своего Аристарха[8] (Пушкин, т. VII, стр. 32):

*О варвар! кто из нас, владелец русской лиры,
Не проклинал твоей губительной
секиры?
Докучным евнухом ты бродишь
между муз:
Ни чувства пылкие, ни блеск ума,
ни вкус,
Ни слог певца «Пиров», столь чистый,
благородный —
Ничто не трогает души твоей
холодной!
На все кидаешь ты косою, неверный
взгляд.
Подозревая всех — во всем ты видишь
яд.
Оставь, пожалуй, труд, нисколько
не похвальный;
Парнас — не монастырь и не гарем
печальный;
И, право, никогда искусный коновал —*

*Излишней пылкости Пегаса не ли-
шал.*

За этим стихом в издании г. Анненкова перерыв: вероятно, поэт допустил «некоторые намеки на современные лица и события», от которых издатель старался, по его словам, *очищать* пьесы Пушкина[9]. Не знаем, до какой степени полезно это очищение, потому что не имеем под руками полной пьесы; но думаем, что пьеса нисколько не потеряла бы своего художественного значения, если бы была напечатана вполне. Да если бы и так, то все-таки следовало бы выпущенные в пьесе стихи поместить хотя в примечаниях. Впрочем, так как этого не сделано, и, конечно, по уважительным причинам, то мы обращаемся к тому, что есть. Поэт продолжает свое обращение к Аристарху:

*Зачем себя и нас терзаешь без
причины?*

*Скажи, читал ли ты Наказ Ека-
терины?*

*Прочти, пойми его, увидишь ясно
в нем*

Свой долг, свои права; пойдешь

инным путем.

В глазах монархини сатирик пре-
восходный

Невежество казнил в комедии на-
родной.

.....[10]

Державин, бич вельмож, при звуке
грозной лиры,

Их горделивые разоблачал куми-
ры;

Хемницер истину с улыбкой гово-
рил;

Наперсник «Душеньки» двусмыс-
ленно шутил,

Киприду иногда являл без покры-
вала, —

И никому из них цензура не меша-
ла.

Ты что же хмуришься? Признай-
ся, в наши дни

С тобой не так легко б раздела-
лись они.

Ты в этом виноват. Перед тобой
зерцало,

Дней Александровых прекрасное
начало:

Проведай, что в те дни произвела
печать!

*На поприще ума нельзя нам от-
ступать...*

За этим стихом, заключающим в себе столь высокую и благородную мысль, опять находится у г. Анненкова перерыв, тем более досадный, что тут следовали, вероятно, какие-нибудь подробности, которые могли бы объяснить нам некоторые литературные взгляды Пушкина[11]. Но тут издатель опять оставляет нас в недоумении, и за последним, приведенным нами стихом следуют стихи, заключающие в себе возражение Аристарха, выказывающее его личность в несколько комическом свете:

*Все правда, – скажешь ты, – не
стану спорить с вами,
Но можно ль мне, друзья, по сове-
сти судить?
Я должен то того, то этого ща-
дить.
Конечно, вам смешно, а я нередко
плачу.
Читаю да крещусь, – мараю на-
удачу.
На все есть мода, вкус. Бывало, на-
пример,*

*У нас в большой чести Бентам,
Руссо, Вольтер;
А нынче и Миллот попался в на-
ши сети.
Я бедный человек; к тому ж жена
и дети...*

Рассерженный этой репликою, поэт заклю-
чает ее, с своей стороны, следующими стиха-
ми:

*Жена и дети, друг, поверь, – боль-
шое зло;
От них все скверное у нас произо-
шло!*

Второе послание к Аристарху, писанное в том же 1827 г.[12], отличается уже тоном гораздо более умеренным. Тут Пушкин уже очень доволен тем, что Аристарх его разрешил заветные доселе эпитеты *божественный*, *небесный* в приложении их к красоте, и приписывает это благотворному влиянию Шишкова, «восприявшего тогда правление наук». Стихи «Сей старец дорог нам» и пр. находятся в этом послании. Мысли обоих посланий интересно сличить, между прочим, с позднейшими «Мыслями о цензуре», чтобы видеть,

каким образом Пушкин приобретал все более и более умеренности в суждениях об общественных вопросах.

В VII томе являются также в первый раз довольно полные отрывки из «Моей родословной» (1830); но и здесь она напечатана не вполне, вероятно, по тем же соображениям, по которым выкинуты некоторые стихи из посланий к Аристарху. Но некоторые из выпущенных стихов едва ли могли бы вредить пьесе в каком-нибудь отношении.

Вообще мы не понимаем, отчего до сих пор не печатались многие из стихотворений Пушкина, давно известные в рукописях и не заключающие в себе ничего предосудительного. Их бы тем скорее следовало напечатать, что их ведь уж знают же почти наизусть все почитатели Пушкина. Например, зачем не напечатаны многие литературные эпиграммы? Мы не хотим подозревать издателя в солидарности с мнениями «Северной пчелы» и фельетонистов «Русского инвалида», но все-таки не можем не заметить, что в издании напрасно сделана эта уступка мнениям некоторых господ, которые боятся, чтобы не помра-

чилась память Пушкина от напечатания его эпиграмм. В «Северной пчеле» недавно помещена была благодарность «Инвалиду» за его брань на эпиграммы. К этой благодарности «Пчела» от себя прибавляет сравнение эпиграмм и полемических статей Пушкина с доносом Ломоносова на Миллера (хотя еще неизвестно, кто в отношениях Булгарина и Пушкина более приближался к ломоносовскому образу действий) и весьма замысловато замечает, что от обнаружения этого доноса гораздо более проиграл во мнении публики Ломоносов, нежели Миллер. Из этого ясно должно быть выведено заключение, что и от издания полемики Пушкина гораздо больше проиграет он сам, нежели гг. Греч и Булгарин. Так думает «Северная пчела» и осыпает г. Анненкова укоризнами. Спрашивается теперь, к чему же послужила деликатность г. Анненкова, везде выставившего только заглавные буквы имен тех, на кого нападал Пушкин, и даже вместо «Видок Фиглярин» поставившего В. Ф.? [13] Совершенно напрасно думал издатель, что гг. Греч и Булгарин сконфузятся от напоминания о том, как честил их Пушкин.

Чтобы убедиться в этом, стоило взять одно из изданий, выходявших под редакциею сих двух журналистов во время Пушкина. Не говоря о пошлой брани, расточавшейся там великому поэту, мы нашли бы там, что гг. Булгарин и Греч всё умеют растолковать в свою пользу!.. Недаром же г. Булгарин столько лет подвизался на поприще журнальном вместе с Н. И. Гречем; недаром же про него и аллегория была сложена, что он владел некогда мечом обоюдоострым. Нет, совершенно напрасно было церемониться с теми господами, которые сами не церемонились с Пушкиным и Гоголем. Нам могут сказать, что о гг. Грече и Булгарине лучше не говорить, потому что участь их в литературе уже решена... Пусть имя их своею смертию умрет; пусть их писательская деятельность не донесется до потомства; невзирая на то, что ими самими многократно чужая деятельность доносима была до сведения любителей в их разборах и еще большею частию в искаженном виде...[14] Это все так, и в литературном ничтожестве гг. Булгарина и Греча мы нисколько не сомневаемся. Но ведь объявляют же они сами о себе, —

ведь объявляет же, вероятно в трехсотый раз, книгопродавец Лисенков о том, что у него *поступили в продажу* или *могут быть получаемы* сочинения Ф. В. Булгарина (вышедшие лет 20 тому назад, – о чем, впрочем, объявление благоразумно умалчивает)... Напоминают же они о себе; отчего же и нам не напомнить им кое-чего? В полемику, разумеется, с ними никто уж вступать не будет. Что для них могли бы значить скромные, деликатные намеки и упреки новейшего времени, когда яркие, живые, энергические, убийственно остроумные статьи Феофилакта Косичкина не могли устыдить их?! Им сказали, что напрасно они пренебрегают Александром Анфимовичем Орловым, который ничуть не хуже их[15], а г. Греч возразил на это, что в мизинчике г. Булгарина гораздо больше ума, чем в головах многих рецензентов!.. Зато и досталось же им за этот мизинчик... Жаль только, что «настоящий Выжигин», обещанный Пушкиным в конце статьи о мизинчике[16], не появился в свет. Там, вероятно, интересны были бы в литературном отношении многие главы, особенно VIII и XV[17].

Из других полемических статей, напечатанных в VII томе, интересен «Отрывок из литературных летописей», с неподражаемым юмором рассказывающий историю о том, как г. Каченовский «принимал другие (нелитературные) меры» против игривого произвола Полевого, «быв увлечен следствиями неблагонамеренности, прикосновенными к чести службы и к достоинству места, при котором г. Каченовский имел счастье продолжать оную». История была в самом деле забавна, и положение почтенного профессора крайне незавидно: Пушкин скромно и спокойно, но совершенно ясно успел изобразить действия Михаила Трофимовича так, что для публики не могло оставаться насчет их ни малейшего сомнения, особенно при помощи ядовитой эпиграммы «Обиженный журналами жестоко», которая появилась в то же время.

Из статей исторических в VII том вошли [две] записки Пушкина, составленные им только как материал для обработки: «Материалы для первой главы истории Петра Великого» и «О камчатских делах». Обе они впервые являются теперь в печати. Точно так же впер-

вые напечатана статья Пушкина о Радищеве, совершенно конченная и отделанная. Относительно этой статьи мы не можем согласиться с мнением издателя, что она принадлежит к тому зрелому, здравому и проницательному критическому такту, который отличал суждения Пушкина о людях незадолго до его кончины. В этой статье мы видим взгляд весьма поверхностный и пристрастный. Пушкин увлекся здесь мыслью единственно о прямодушии, необходимом в авторском деле, и понял все дело односторонне. Он никак не хотел отделить *преступления печати*, совершенного Радищевым в молодости, от всей его последующей жизни. Стараясь видеть в Радищеве полуневежду и полунегодяя, Пушкин нередко впадает даже в противоречия с самим собою. В конце статьи он говорит о нем с резкостью, какую редко позволял себе: «Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление пред своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему, – вот что мы видим в Радище-

ве». Такой приговор слишком жесток, и эпитеты – слабоумного, невежественного, слепого – слишком положительны, чтобы можно было ожидать от Пушкина высокого мнения об уме Радищева. Несмотря на то, мы находим, что Пушкин, упрекая Радищева за его книгу, говорит, что он мог бы лучше прямо представить правительству свои соображения, потому что оно всегда «чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих»; таким образом, поэт не отказывается поставить в число людей «просвещенных и мыслящих» этого человека, которому сам же приписал невежество, слабоумие, поверхностность и пр. Это непоследовательно. Или нужно было признать Радищева человеком даровитым и просвещенным, и тогда можно от него требовать того, чего требует Пушкин; или видеть в нем до конца слабоумного представителя полупросвещения, и тогда совершенно [неуместно замечать, что лучше бы ему вместо «брани указать на благо, которое верховная власть может сделать, представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния кре-

стьян, потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено, и мысль, священный дар божий, не была рабой и жертвой бессмысленной и своенравной управы, а с другой – чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной»]. Зачем такие высокие требования от человека, в котором, тремя строками выше, не признается ничего, кроме невежества, слабости и пр.? Что толковать с таким человеком?.. Зачем укорять его, что он не сделал того, чего мы хотим, если мы сами признаем, что он не мог этого сделать?.. Но Пушкин не один только раз впадает в такую ошибку. В другом месте он старается оправдать Радищева в том, что он под старость «переменил образ мыслей и не питал уже в сердце своем никакой злобы к прошедшему». От какого же обвинения оправдывает он Радищева? Конечно, уж не от обвинения в том, что он оставил свою злобу; само по себе это обстоятельство должно было представляться Пушкину очень похвальным. Оправдание здесь возможно бы-

ло для Пушкина только в отношении к самому факту *перемены* мнений. Но стоило ли оправдывать перемену мнений в человеке, который отличается только «слепым пристрастием к новизне, *поверхностными* сведениями, *наобум* приноровленными ко всему»? Такой человек, разумеется, должен менять свои мнения тотчас, как только проходит мода на них. Не забудьте, что он *слепо* увлекается всем новым, не мыслит сам, а только *наобум* приноровляет ко всему свои поверхностные сведения. Но Пушкин считает нужным оправдывать перемену Радищева, следовательно, тем самым признает в нем искренние [и честные] убеждения, оставление которых может бросать тень на самый характер человека. Еще яснее выражается, без ведома автора, уважение его к Радищеву в самом оправдании, решительно противоречащем строгому приговору, произнесенному относительно всей деятельности этого человека вообще. «Время изменяет человека, – говорит Пушкин. – Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют (следовательно, Радищев не

был глуп, не был невежественным представителем полупросвещения, а постоянно развивался и пользовался опытами времени). Могли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время ужаса? (Следовательно, он не *слепо* увлекался всем новым.) Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? (Следовательно, он не всему изумлялся слабоумно в своем веке, а признавал дурным некоторые его явления.) Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого «сентиментального тигра» (значит ли это, что он наобум применял ко всему свои поверхностные сведения?)... Выразивши таким образом, против воли, высокие понятия о Радищеве, которого непременно хочет выставить с дурной стороны, поэт-критик рассказывает вслед за тем смерть Радищева и повод к ней, с явным желанием и тут осудить его. Дело происходило таким образом. Император Александр, по вступлении на

престол, вспомнил о Радищеве и, заметивши в сочинителе «Путешествия» «отвращение от многих злоупотреблений и некоторые благонамеренные виды», определил его в Комиссию составления законов и приказал ему изложить свои мысли касательно некоторых гражданских постановлений. Радищев исполнил это со всею откровенностью и смелостью своих задушевных убеждений. Начальник, которому принес он свой проект, заметил ему: «Эх, Александр Николаевич! охота тебе пустословить по-прежнему! или мало тебе было Сибири?» Видя, что убеждения его принимаются таким образом, Радищев глубоко оскорбился и, пришедши домой, отравил себя. Рассказывая эту историю, Пушкин, как бы с намерением кольнуть Радищева, замечает, что «автор «Путешествия» вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям». Об этом обстоятельстве, вероятно, забыл Пушкин, когда высказал свое требование, чтобы Радищев вместо брани представил лучше свои соображения, и пр. Несчастный автор, верно, знал себя и обстоятельства, в которых он находил-

ся, гораздо лучше, нежели его беспощадный критик.

В заключение своей статьи автор спрашивает: [«Какую цель имел Радищев?】 Чего именно желал Радищев?» И говорит за него: «На сии вопросы вряд ли мог он сам отвечать удовлетворительно», то есть, по мнению Пушкина, несчастный автор, печатая свое «Путешествие», сам не понимал, к чему он это делает [и не имел в виду никакой определенной цели]. Мы не будем входить в рассмотрение того, справедливо ли это мнение само по себе, но заметим, что такое суждение противоречит другому месту той же самой статьи, где Пушкин говорит: «Не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным, *политического фанатика* [заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какою-то рыцарскою совестью]. Если он был фанатиком, только заблуждающимся в своих стремлениях, то, значит, все-таки у него была же какая-нибудь цель, к которой он стремился]. Заметим на это, что фанатизм непременно должен привязываться к какому-нибудь

предмету, и нам кажется, что невозможно представить себе фанатика, который бы не знал, чем он увлекается. Возможно ли же примирить суждения Пушкина, что Радищев был политическим фанатиком, и чтобы, несмотря на то, он не мог отвечать на вопрос «чего желал он?» [не имел никакой цели в своем поступке]?

Вообще нужно заметить, что статья о Радищеве любопытна как факт, показывающий, до чего может дойти ум живой и светлый, когда он хочет непременно подвести себя под известные, заранее принятые определения. В частных суждениях, в фактах, представленных в отдельности, постоянно виден живой, умный взгляд Пушкина; но общая мысль, которую доказать он поставил себе задачей, ложна, неопределенна и постоянно вызывает его на сбивчивые и противоречащие фразы. К сожалению, статья о Радищеве представляет не единственный пример подобного несправедливого увлечения. Он составил себе круг идей, которые уже были для него неприкосновенны [в своей святыне], хотя бы даже несправедливость их и была очевидна. Он

уже восклицает:

Да будет проклят правды глас,
*Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угрождает праздно*[18].

Проклиная правду, когда она благоприятна была для посредственности, и наивно признаваясь в этом, поэт, разумеется, старался поддерживать в себе всякий обман, казавшийся ему благородным и возвышенным. «Нас возвышающий обман»[19] был для него действительно дороже тьмы *низких* истин. В разделении истин на низкие и высокие опять отражалось, разумеется, влияние старой риторической школы, допускавшей еще и *средние* истины, так же точно, как допускала она высокий, средний и низкий слог. И Пушкин, при всем своем презрении к риторической школе, не мог от нее освободиться в этом случае, и в последнее время жизни, вместе с полным обращением его к чистой художественности, усилилось в нем и пристрастие к некоторым исключительным истинам, соединенное с отвращением от других. Он уже заглушал в себе некоторые из прежних сердечных

звук, называя их следствием безумства, лени и страстей; он уже позволил себе в одном стихотворении назвать наглецом Наполеона [20], о котором сам писал за десять лет: «Да будет омрачен позором тот малодушный, кто омрачит безумным укором его развенчанную тень...»[21] Прежние задушевные мечты высказывались теперь уже тоном шутливым и даже насмешливым, а то, что в молодости вызывало насмешки, теперь возбуждало в поэте благоговейное умиление. Прежде писал он к одному из друзей гордое послание (не напечатанное почему-то у г. Анненкова)[22], в котором поверял своему другу свои надежды и мечты о славе пророка [обличителя земли своей], а через несколько лет он писал:

*Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиленье вдохновенном
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена[23].*

Не мудрено, что при таком расположении ему очень не нравилось все, что мешало лени и тишине [, и что по этому случаю Радищев заслужил особенное его нерасположение].

Впрочем, здравый природный ум предохранял Пушкина от излишних крайностей в принятом им направлении, и, при всем недостатке серьезного образования, он умел понимать ошибки людей, заходивших слишком далеко в применении тех начал, верности которых он сам, по-видимому, вполне доверял. В этом обстоятельстве мы находим ясное подтверждение того, что направление, принятое Пушкиным в последние годы, вовсе не исходило из естественных потребностей души его, а было только следствием слабости характера, не имевшего внутренней опоры в серьезных, независимо развившихся убеждениях [и потому скоро павшего от утомления в борьбе с внешними враждебными влияниями]. Оттого-то в последние годы его жизни мы видим в нем какое-то странное борение, какую-то двойственность, которую можно объяснить только тем, что, несмотря на желание успокоить в себе все сомнения, проникнуться как можно полнее заданным направлением, — все-таки он не мог освободиться от живых порывов молодости, от гордых, независимых стремлений прежних лет. До сих пор в печати

известны были почти только те произведения последних лет жизни Пушкина, в которых выражалось, более или менее ярко, направление, господствовавшее в нем в эти последние годы. Ныне изданный дополнительный том сообщает много произведений совершенно противоположного характера, и они-то доказывают, что Пушкин и пред концом своей жизни далеко еще не всей душой предан был тому направлению, которое принял, по-видимому, так пламенно, которое зато произвело охлаждение к нему в [лучшей части] его почитателей. Известно, напр., что в последнее время в нем особенно сильно развились генеалогические предрассудки; но ныне напечатанное стихотворение «Когда по городу задумчив я хожу» обнаруживает воззрение совершенно чистое, равно как и некоторые стихи пьесы, озаглавленной «Из VI Пиндемонта» и написанной, так же как и «Кладбище», в 1836 г. В ней есть, между прочим, такие стихи:

*Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.*

*Я не ропщу о том, что отказали
боги
Мне в сладкой участи оспоривать
налоги
Или мешать <царям> друг с дру-
гом воевать.
...Иные лучшие мне дороги права...
..... Никому
Отчета не давать, себе лишь са-
мому
Служить и угождать...
Не гнуть ни совести, ни помыс-
лов, ни шеи...
Вот счастье! вот права!..*

Известно также, что в стихотворениях Пушкина, и чем позднее, тем ярче, [постоянно высказывалось чрезмерное уважение к штыку и презрение к оружию слова. Судя по знаменитому стиху «Кому венец? мечу иль крику?»[24], предполагали, не без основания, что Пушкин решительно] не признавал силы литературного убеждения; между тем напечатанные ныне статьи его [о Радищеве,] о мнении. г. Лобанова[25], «Отрывок из литературных летописей» [, о нападках на дворянство] доказывают, что он придавал очень большое

значение не только вообще литературе, но даже и тем памфлетическим возгласам, которые именно можно назвать криком. [Следовательно, до конца жизни он не был решительным, слепым поклонником грубой силы, не оживленной разумностью.]

В последнее время Пушкин окончательно также склонился, по-видимому, к [той мысли, что для исправления людей нужны «бичи, темницы, топоры», а не сила слова, не сатира, не литературное обличение. Он отталкивал от себя общественные вопросы жестоким восклицанием:]

*Подите прочь! какое дело
Поэту мирному до вас?..[26]*

Но ныне в VII томе напечатано его стихотворение, в котором он сам хочет приняться за сатиру и клеймить пороки. Стихотворение это написано в 1830 году, следовательно, в то же время, как и пресловутая «Чернь». Начинается это стихотворение так:

*О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич.*

А оканчивается:

*О, сколько лиц бесстыдно-блед-
ных,
О, сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать!..[27]*

Поэт, как мы знаем, не исполнил своего предположения; но уже самое намерение его служит лучшим опровержением мыслей, высказанных в «Черни» [и увлекших многих силою своего выражения].

В отношении к суждениям о некоторых литературных явлениях Пушкин тоже является не всегда верен самому себе. Боязливая попечительность о соблюдении нравственности, похожая на заботу жены Платона Михайлыча о здоровье своего мужа в «Горе от ума», – все больше и больше овладевала Пушкиным в последние годы жизни. Он приходил в ужас от издания «Записок палача Самсона» и говорил, что следовало бы запретить их. Но он же в последний год своей жизни очень энергически восстал против г. Лобанова, когда сей академик произнес в Академии речь «о нелепости и безнравии» современной литературы и говорил, что, «по множеству сочи-

ненных ныне безнравственных книг цензура должна проникать все ухищрения пишущих», и что Академия должна ей помогать в этом, «яко сословие, учрежденное для наблюдения нравственности, целомудрия и чистоты языка», то есть для того, чтобы «неослабно обнаруживать, поражать и разрушать зло» на поприще словесности. Пушкин возражал на это следующей репликой, которая также напечатана в изданном ныне томе и которую мы считаем нелишним выписать для того, чтобы показать, что и в самых уклонениях своих от здравых идей, в самом подчинении рутине Пушкин не доходил никогда до обскурантизма и даже поражал, когда мог, обскурантизм других. Вот его мысли, опровергающие г. Лобанова:

Но где же у нас это множество безнравственных книг? Кто сии дерзкие, злонамеренные писатели, ухищряющиеся ниспровергать законы, на коих основано благоденствие общества? И можно ли упрекать у нас цензуру в неосмотрительности и послаблении? Вопреки мнению г. Лобанова, цензура не должна проникать все ухищрения

пишущих. Цензура долженствует обращать особенное внимание в дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерение автора, и в суждениях своих принимать всегда за основание явный смысл речи, не дозволяя себе произвольного толкования оной в дурную сторону (Устав о цензуре, № 6). Такова была высочайшая воля, даровавшая нам литературную собственность и свободу мысли! Если с первого взгляда сие основное правило нашей цензуры и может показаться льготой чрезвычайною, то по внимательнейшем рассмотрении увидим, что без того не было бы возможности напечатать ни одной строчки, ибо всякое слово может быть перетолковано в худую сторону (т. VII, стр. 109 второй нумерации).

Мы коснулись всего наиболее замечательного в дополнительном томе сочинений Пушкина. О литературных отрывках, помещенных в конце тома, сказать нечего; они интересны только в том отношении, в каком «всякая строка всякого великого писателя интересна для потомства». Читая их, мы можем

припомнить знакомые черты, знакомые приемы любимого поэта; но подобные отрывки не подлежат критическому разбору.

В заключение мы должны сказать несколько слов о самом издании. Оно аккуратно по-прежнему; опечаток значительных немного; в правописании сохраняются свои нравные ошибки Пушкина (так, например, писатель, отечество – печатаются с большой буквы, а Гораций – с маленькой); при каждой статье находятся примечания, большею частью библиографические; в конце тома приложены алфавитный указатель всех сочинений Пушкина, помещенных в семи томах издания г. Анненкова, и подробный указатель к материалам для биографии Пушкина, помещенным в первом томе того же издания. Этот последний указатель значительно облегчает пользование материалами, которое до сих пор было несколько затруднительно, по недостатку разделения их на главы. Теперь, с изданием VII тома Пушкина, дело г. Анненкова кончено, и всякий любитель литературы, кроме разве людей, сочувствующих издателям «Северной пчелы», почтит, конечно, искрен-

ней благодарностью его труды по изданию нашего великого поэта как истинную заслугу пред русской литературой и обществом.

Комментарии

Речь идет о стихотворении А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших», напечатанном (в первоначальной редакции) в «Сборнике, издаваемом студентами императорского Петербургского университета», СПб. 1857, вып. I, стр. 339–343.

[^^^]

Пародия Батюшкова на «Певца во стане русских воинов» Жуковского – «Певец в Беседе славянороссов» (или «Певец в Беседе любителей русского слова») – была опубликована М. Н. Лонгиновым в «Современнике», 1856, кн. V.

[^^^]

Речь идет о «Библиографических записках» М. Н. Лонгинова, печатавшихся в «Современнике» в 1856–1857 гг. (см. также «Сочинения М. Н. Лонгинова», т. I, М. 1915).

[^^^]

О Радищеве см. заметку М. Н. Лонгинова «Алексей Михайлович Кутузов и Александр Николаевич Радищев (1749–1802)» в кн. VIII «Современника» за 1856 г.

О Новикове см. «Материалы для биографии Н. И. Новикова», помещенные в «Сборнике, издаваемом студентами императорского Петербургского университета», вып. I, стр. 321–329.

[^^^]

Намек на полемическое выступление С. П. Шевырева («Москвитянин», 1854, июль) против статьи В. П. Гаевского («Отечественные записки», 1854, кн. V) по поводу двух стихов в «Борисе Годунове» Пушкина.

[^^^]

6

Намек на полемику между Н. С. Тихонравовым («Москвитянин», 1853, март) и В. П. Гаевским («Отечественные записки», 1853, кн. VI и VII).

[^^^]

«Посланиями к Аристарху» Добролюбов называет «Послания к цензору» (1822 и 1824) Пушкина.

[^^^]

Далее Добролюбов приводит несколько цитат из «Послания к цензору» 1822 г.

[^^^]

Приводим эти пропущенные строки:

Чего боишься ты? Поверь мне, чьи забавы —

*Осмеивать закон, правительство
иль нравы,*

*Тот не подвергнется взысканью
твоему;*

*Тот не знаком тебе, мы знаем по-
чему, —*

*И рукопись его, не погибая в Лете,
Без подписи твоей разгуливает в
свете.*

*Барков шутливых од тебе не по-
сылал,*

*Радищев, рабства враг, цензуры
избежал,*

*И Пушкина стихи в печати не бы-
вали;*

*Что нужды? их и так иные прочи-
тали.*

*Но ты свое несешь, и в наш пре-
мудрый век*

*Едва ли Шаликов не вредный чело-
век.*

[^^^]

В издании Анненкова здесь были пропущены строки:

*Хоть в узкой голове придворного
глупца
Кутейкин и Христос – два равные
лица.*

[^^^]

Приводим пропущенные в издании Анненкова строки:

*Старинной глупости мы праведно
стыдимся,
Ужели к тем годам мы снова об-
ратимся,
Когда никто не смел отечество
назвать,
И в рабстве ползали и люди и пе-
чать?
Нет, нет! Оно прошло, губитель-
ное время,
Когда невежества несла Россия
бремя,
Где славный Карамзин снискал се-
бе венец,
Там цензором не может быть
глупец...
Исправься ж, будь умней и прими-
рися с нами.*

Добролюбов ошибочно датирует «Послания к цензору» 1827 годом. у Анненкова оба стихотворения отнесены к 1824 г. (см. стр. 35).

[^^^]

Видок Фиглярин. – Так Пушкин называет в своих статьях и сатирических стихах Ф. В. Булгарина (см., напр., стихотворение «Моя родословная», 1830).

[^^^]

Намек на доносы Булгарина и Греча в III Отделение.

[^^^]

Имеется в виду статья Пушкина (за подписью: «Феофилакт Косичкин») «Торжество дружбы или оправданный Александр Анфимович Орлов» (опубликована в «Телескопе», 1831, ч. IV, № 13, стр. 136; перепечатана в т. VII издания Анненкова, стр. 87–94).

[^^^]

...статья о мизинчике – статья Пушкина «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» (опубликована в «Телескопе», 1831, ч. IV, № 15, стр. 412; перепечатана в т. VII издания Анненкова, стр. 95–100). В конце статьи Пушкин привел сатирическое «Оглавление историко-нравственно-сатирического романа XIX в.» – «Настоящий Выжигин», – разоблачающее Булгарина.

[^^^]

Глава VIII «Настоящего Выжигина» была озаглавлена Пушкиным «Выжигин без куска хлеба. Выжигин ябедник. Выжигин торгаш», глава XV – «Семейственные неприятности. Выжигин ищет утешения в беседе муз и пишет пасквили и доносы».

[^^^]

Цитируется стихотворение Пушкина «Герой» (1830). У Пушкина:

Да будет проклят правды свет...

[^^^]

Строка из стихотворения Пушкина «Герой».

[^^^]

Подразумеваются строки из стихотворения
«Клеветникам России» (1831):

*Мы не признали наглой воли
Того, пред кем дрожали вы...*

[^^^]

Добролюбов дает вольный пересказ строк из стихотворения Пушкина «Наполеон» (1821). У Пушкина:

*Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!*

[^^^]

Подразумевается послание Чаадаеву 1818 г. (впервые полностью опубликовано в «Полярной звезде» за 1856 г., кн. II; в издание П. В. Анненкова вошло (т. II, стр. 239–240) с такими переделками и сокращениями, что «совершенно утратило первоначальный смысл, а местами и смысл вообще» («Библиографические записки», 1858, № 11, стр. 338).

[^^^]

Цитируется послание Чаадаеву 1824 г.

[^^^]

Строка из стихотворения Пушкина «Бородинская годовщина» (1831).

[^^^]

Речь идет о статье Пушкина «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной» (впервые опубликована в «Современнике», 1836, кн. III; перепечатана в т. VII издания Анненкова, стр. 101–110).

[^^^]

Строки из стихотворения «Поэт и толпа» («Чернь»), написанного в 1828 г. (а не в 1830 г., как указывает далее Добролюбов).

[^^^]

Стихотворение «О муза пламенной сатиры»
было написано между 1823–1825 гг.

[^^^]